

МАКС ВЕБЕР: 140 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ



М. Вебер

ОТНОШЕНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ ОБЩНОСТИ*

§ 1. «Расовая» принадлежность

Гораздо более проблематичный, чем выясненные ранее, источник общностного действия (*Gemeinschaftshandeln*), представляет собой «расовая принадлежность», фактически основанное на общем происхождении обладание однородными унаследованными и передающимися по наследству предрасположенностями. Она, естественно, приводит к «общности» («*Gemeinschaft*») лишь в том случае, если она субъективно воспринимается как общий признак, а это происходит, только если территориальное соседство или объединение представителей разных рас в целях (чаще всего политического) совместного действия, или наоборот, если какие-либо общие судьбы однородных в расовом отношении людей связаны с какой-либо противоположностью Сходных и явно Иных. Возникающее тогда общностное действие обычно проявляется, в общем, только чисто негативно: как избегание и презрение или, наоборот, как суеверный страх по отношению к явно Иным. Иной по своему внешнему габитусу, чего бы он ни «достиг» и кем бы он ни «был», презирается просто как таковой или, наоборот, суеверно почитается там, где он долгое время являлся более могущественным. Отторжение при этом является первичной и нормальной реакцией. Но, во-первых, этот вид «отторжения» присущ не только носителям антропологических сходств по отношению к Иным, и его мера отнюдь не определяется степенью антропологического родства, и во-вторых, оно опирается не только на наследственные, но также и на другие зримые различия во внешнем габитусе.

Если степень объективных расовых различий можно определить чисто фи-

* Перевод выполнен по: Weber M. *Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriss der verstehenden Soziologie* / Besorgt von Johannes Winckelmann. — 5., rev. Aufl., Studienausg., — Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1980. Zweiter Teil. Kap. IV. S. 234–244.

зиологически также исходя из того, продолжают ли дети от смешанных браков свой род в мере, приближающейся к норме, то силу субъективного взаимного расового притяжения или отторжения можно было бы измерить на основе того, насколько часто или редко сексуальные отношения являются постоянными или преимущественно временными и нерегулярными. Соответственно, тогда, по-видимому, наличие или отсутствие смешанных браков у всех общностей с развитым этническим сознанием является естественным следствием расового притяжения или обособления. Исследования отношений сексуального притяжения и отторжения между различными этническими общностями сегодня находятся на самой начальной стадии точных наблюдений. Нет ни малейшего сомнения в том, что для интенсивности половых отношений и для создания брачных союзов имеют значение - иногда решающее — также расовые, т. е. обусловленные общностью происхождения факторы. Однако против «естественности» расового отторжения в сфере половых отношений, даже в случае очень далеко отстоящих друг от друга рас, достаточно однозначно свидетельствуют, например, несколько миллионов мулатов в Соединенных Штатах. Наряду с прямым запретом межрасовых браков в южных штатах, обе стороны — с недавнего времени также и негры — испытывают отвращение к любым половым отношениям, но это началось только в связи с эмансипацией и является результатом притязаний негров на то, чтобы с ними обращались как с равноправными гражданами, следовательно, отвращение со стороны белых социально обусловлено ранее изложенной тенденцией к монополизации социальной власти и чести, в данном случае связанной с расой. Сам «коннубиум», т. е. такое положение, когда потомство постоянной сексуальной общности допускается политической, сословной или экономической общностью отца к сходному участию в общественном действии и к его преимуществам, зависит от различных обстоятельств. При ненарушимом патриархате, о котором говорится в другом месте, отец мог по своему усмотрению даровать равные права своим детям от рабынь. Более того, превознесение похищения жены героем сделало правилом смешение рас в господствующем слое. И только известная нам тенденция монополистического замыкания политической, сословной или какой-либо другой общности и монополизации брачных шансов постепенно ограничивает эту власть главы дома и создает строгое ограничение коннубиума выходцами из постоянных сексуальных общностей своей собственной (сословной, политической, культовой, экономической) общности, что также приводит к высокой степени инбридинга (Inzucht). «Эндогамия» общности, по-видимому, повсюду является вторичным продуктом таких тенденций — если понимать под ней не просто тот факт, что постоянные половые отношения возникают преимущественно на основе принадлежности к одному союзу любого рода, но такой ход общественного действия, что только рожденные в эндогенном браке признаются полноправными членами союза. (Не следует говорить о «родовой» эндогамии, т. к. ее не существует, за исключением тех случаев, когда хотят назвать этим словом такие явления, как левират и право дочери-наследницы, которые имеют вторичное, религиозное или политическое происхождение). Чистые антропологические типы очень часто являются вторичным следствием подобных, неважно, чем обусловлен-

ных замыканий, например, секты (Индия) или «народы-парики», т. е. общности, которые социально презираемы, но при этом желательны в качестве соседей из-за монополизированных ими незаменимых навыков.

Не только сам факт, но и степень, в которой реальное кровное родство рассматривается как таковое, определяется также другими причинами, помимо меры объективного расового родства. Малейшая примесь негритянской крови в Соединенных Штатах неизбежно дисквалифицирует ее носителя, тогда как очень значительные примеси индейской крови к этому не приводят. Несомненно, важно, что эстетически чистокровные негры выглядят еще более чужеродными, чем индейцы, кроме того, здесь также влияет память о том, что негры, в отличие от индейцев, были рабами, т. е. сословно дисквалифицированной группой. Сословные, т. е. привитые воспитанием различия и, в частности, различия в «образовании» («Bildung») (в самом широком смысле слова) представляют гораздо более сильное препятствие для конвенционального коннубиума, чем различия антропологического типа. Чисто антропологическое отличие, если пренебречь крайними случаями эстетического отторжения, всегда оказывает лишь незначительное влияние.

§ 2. Возникновение веры в этническое единство. Языковая и культурная общность

Вопрос о том, основываются ли различия, воспринимаемые как явно отклоняющиеся и поэтому разделяющие, на «предрасположенности» или «традиции», обычно не имеет никакого значения относительно их воздействия на взаимное притяжение или отторжение. Это касается развития эндогамных брачных общностей, и, конечно, это тем более относится к притяжению и отторжению в прочих видах «общения» («Verkehr»), т. е. к тому, возникают ли между такими группами дружеские, товарищеские или экономические отношения и общности всех видов — легко и на базе взаимного доверия и отношения друг к другу как к подобным и равноценным, или же они складываются с трудом и с предосторожностями, свидетельствующими о недоверии. Большая или меньшая легкость возникновения общности социального взаимодействия (soziale Verkehrsgemeinschaft) (в самом широком смысле слова) в той же мере основывается на самых поверхностных чертах внедрившихся по какой-то случайной исторической причине различий во внешнем жизненном укладе, как и на расовом наследии. Наряду с непривычностью отклоняющихся обычаев как таковой, гораздо более значимым является то, что в отклоняющихся «обычаях» не видят субъективного «смысла», потому что к ним нет ключа. Но, как мы скоро увидим, не всякое отторжение основывается на отсутствии общности «понимания». Различия в манере носить бороду, в прическе, одежде, способе питания, привычном разделении труда между полами и вообще все бросающиеся в глаза различия могут в отдельном случае привести к отторжению и презрению, но фактическая степень этих различий неважна для непосредственного чувства притяжения и отторжения, как показывают наивные описания путешествий у Геродота или в старой, донаучной этнографии — или, в качестве положительной обратной стороны, к осознанию единства Сходных, которое затем

так же легко может стать носителем общности. С другой стороны, любая общность, начиная с домашнего или соседского союза и заканчивая политической и религиозной общностью, обычно является носителем общих обычаев. Все различия в «обычаях» могут питать специфическое чувство «чести» и «достоинства» их носителей. Первоначальные причины возникновения различий в жизненном укладе забываются, а контрасты продолжают существовать как «конвенции» («Konventionen»). Любая общность может таким способом приводить к образованию обычаев, так же каждая общность, соотнося с отдельными унаследованными качествами благоприятные шансы на жизнь, выживание и продолжение рода, влияет тем или иным образом на отбор антропологических типов, т. е. оказывает селекционное воздействие, при определенных обстоятельствах даже очень сильное. Так же, как и при внутреннем уравнивании, обстоят дела и при различии вовне. Известная нам тенденция монополистического замыкания вовне может основываться на любом внешнем моменте. Универсальная власть «подражания» действует таким образом, что как благодаря смешению рас антропологические типы, так и просто традиционные обычаи, как правило, изменяются от места к месту только посредством постепенных переходов. Поэтому четкие границы между областями распространения воспринимаемого со стороны жизненного уклада появились либо в результате осознанного монополистического замыкания, которое возникло на основе небольших различий, впоследствии намеренно поддерживаемых и углубляемых, либо вследствие мирных или военных перемещений общностей, которые ранее жили очень далеко и приспособились в своих традициях к гетерогенным условиям существования. Точно так же явно внешне различные, выведенные в изоляции расовые типы вследствие монополистического замыкания или перемещений оказываются в четко отграниченных друг от друга соседних областях. Из всего этого следует, что сходство и противоположность габитуса и жизненного уклада, вне всякой зависимости от того, унаследованы ли они или относятся к традиции, в своем возникновении и изменении подчиняются одним и тем же условиям жизни общности и так же сходны в воздействии на образование общности. Различие лежит, с одной стороны, в огромной разнице в неустойчивости обоих в зависимости от того, были ли они унаследованы или относятся к традиции, и с другой, в жестких (хотя детально зачастую неизвестных) пределах культивации новых наследственных качеств, которым, несмотря на сильные различия в переносимости традиций, «обычаев» противостоит гораздо большая свобода в отношении «увоения».

Почти каждый вид сходства и противоположности габитуса и обычаев может стать поводом для субъективной веры в то, что между притягивающими или отторгающими друг друга группами существует племенное родство или племенная чуждость. Правда, не всякая вера в племенное родство основывается на одинаковости обычаев и габитуса. Она может существовать и проявлять общностнообразующую власть (несмотря на сильные различия в этой области) также в том случае, если она поддерживается памятью о реальном переселении: колонизации или индивидуальной миграции.

Ведь эффект привычного и воспоминаний юности продолжает быть источником «чувства родины» у переселенцев даже тогда, когда они настолько полно приспособились к новому окружению, что для них самих возвращение на родину было бы невыносимым (как, например, для большинства американцев немецкого происхождения). У колонистов внутренняя связь с родиной сохраняется несмотря на значительные смещения с жителями колонизированной страны и глубокие изменения традиций и наследственного типа. При политической колонизации решающее значение имеет потребность в политической опоре, затем продолжение созданных посредством брака свойственно-родственных связей и, наконец, если «обычай» не меняется, экономические отношения, которые, пока длится это состояние неизменной потребности, могут быть особенно интенсивными между родиной и колонией, особенно у колоний в почти полностью чужеродном окружении и в чужой политической области. Вера в племенное родство может иметь важные последствия особенно для образования политических общностей — при этом, конечно, безразлично, имеет ли она какое-то объективное обоснование. Такие группы людей, которые по причине сходства внешнего габитуса или обычаев, или того и другого, или памяти о колонизации и переселении имеют субъективную веру в общее происхождение так, что эта вера становится важной для пропаганды образования общности, в том случае, если они не представляют «кланы», мы будем называть «этническими» группами, независимо от того, существует ли между ними объективно единство крови или нет. От «родовой общности» («Sippengemeinschaft») «этническое» единство (Gemeinsamkeit) отличается тем, что оно само по себе есть лишь «единство» (в которое верят), а не «общность», как род, к которому относится реальное общностное действие. Этническое единство (в том смысле, в котором мы употребляем это слово), напротив, является не самой общностью, а лишь фактором, упрощающим возникновение общности. Оно способствует образованию самых различных, правда, как следует из опыта, прежде всего политических общностей. С другой стороны, прежде всего политическая общность, какой бы искусственной ни была ее организация, пробуждает веру в этническое единство, которая сохраняется и после ее распада, если только этому не препятствуют резкие различия в обычаях и габитусе, а особенно в языке.

Этот «искусственный» способ возникновения веры в этническое единство полностью соответствует известному нам переосмыслению рациональной общности (Vergesellschaftung) как личных отношений. В условиях незначительного распространения рационально объективированного общественного действия (Gesellschaftshandeln), почти каждая, даже созданная на чисто рациональной основе общность, получает всеобъемлющее сознание общности в форме личного братства на основе веры в «этническое» единство. Уже для эллина каждое, даже произвольно проведенное разделение полиса становилось личным союзом с по крайней мере культовой общностью, часто с искусственным предком. Двенадцать колен Израиля являются подразделениями политической общности, которые по месяцам последовательно сменяли друг друга в выполнении определенных видов деятельнос-

ти, как и эллинские филы и их подразделения. Но последние также вполне могут считаться этническими единствами с общим происхождением. Несомненно, первоначальное разделение вполне могло опираться на политические или уже имеющиеся этнические различия. Но и там, где оно было сконструировано при разрыве старых союзов и отказе от тесных местных связей довольно рационально и схематично — как, например, клисфеновское, оно имело такое же этническое воздействие. Таким образом, это не означает, что древнегреческий полис реально или изначально был племенным или родовым государством, но это является симптомом в целом очень низкой степени рационализации жизни эллинских общностей вообще. Наоборот, для большей рационализации образования римских политических общностей симптоматично то, что их старые схематичные подразделения (*curiae*) в очень незначительной мере получали то религиозное, симулирующее этническое происхождение, значение.

Вера в «этническое» единство очень часто, хотя и не всегда, ограничивает «социальные круги общения» («*Verkehrsgemeinschaften*»); в свою очередь, последние не всегда идентичны эндогамной брачной общности, т. к. охватываемые каждой из обеих (групп) круги могут очень различаться по величине. Их близкое родство объясняется только сходной основой: верой в специфическую, не разделяемую теми, кто находится за пределами группы, «честь» — «этническую честь» — члена группы, чье родство с «сословной» честью мы объясним позднее. Здесь мы пока ограничимся этими несколькими вопросами. Каждое собственно социологическое исследование должно проводить гораздо более тонкие различия, чем мы это делаем здесь для наших ограниченных целей. Общности со своей стороны могут вызывать чувства единства, которые длительное время сохраняются и после исчезновения общности и воспринимаются как «этнические». Такое воздействие может оказывать в особенности политическая общность. Но наиболее непосредственным это воздействие бывает у такой общности, которая является носителем специфического «культурного наследия масс» и обосновывает или облегчает взаимопонимание: общность языка.

Несомненно, там, где по каким-либо причинам долгое время сохраняется живая память о возникновении внешней общности вследствие отделения или переселения («колония», «*Ver sacrum*» и подобные процессы) из материнской общности, присутствует очень специфическое чувство «этнической» общности, получающее зачастую очень большую нагрузку. Но это обусловлено общностью политической памяти или, что в давнее время было гораздо сильнее, продолжительной связью с культовой общностью, или продолжительным усилением родовых союзов и других форм общностей, пронизывающих как старую, так и новую общность, или другими продолжительными, постоянно ощущаемыми отношениями. Там, где они отсутствуют или прекращаются, отсутствует также и чувство «этнической» общности, независимо от того, насколько близким является кровное родство.

Если попытаться выяснить в общем, какие остаются «этнические» различия, если не принимать во внимание общность языка, которая ни в коей мере не совпадает с объективными или субъективно воображаемыми узами

кровного родства, и тоже не зависящее от них единство религиозной веры, а также временно пренебречь влиянием общих чисто политических судеб и памятью о них, которая, по крайней мере объективно не имеет ничего общего с кровным родством, — тогда остаются, с одной стороны, как уже упоминалось, эстетически заметные различия в проявляющемся вонне габитусе и, с другой, обладающие такой же значимостью, бросающиеся в глаза различия в повседневном образе жизни. Таким образом, т. к. в отношении причин «этнического» разделения речь всегда идет о внешне распознаваемых резких различиях, это именно такие вещи, которые в других случаях могут представляться социально незначимыми. Ясно, что общность языка и близкое к ней, обусловленное сходными религиозными представлениями сходство ритуальной регламентации жизни образуют исключительно сильные, действующие повсюду элементы чувств «этнического родства», а именно потому, что смысловая «понятность» поступка Другого есть самая основная предпосылка создания общности. Но здесь мы хотим исключить оба эти элемента и посмотреть, что тогда останется. Также необходимо признать, что по крайней мере сильные различия в диалектах и в религии не исключают полностью чувства этнической общности. Наряду с действительно сильными различиями в хозяйственном образе жизни, для веры в этническое родство во все времена играли роль такие внешние отражения, как различия в типичной одежде, типичном способе обустройства жилища и питания, принятой форме разделения труда между полами и между свободными и несвободными — т. е. такие вещи, применительно к которым спрашивают: что считается «приличным» и что, прежде всего, затрагивает чувство чести и достоинства индивида. Другими словами, это все те вещи, которые встретятся нам позднее как предметы специфически «сословных» различий. В действительности убежденность в совершенстве собственных и неполноценности чужих обычаев, которая питает «этническую честь», аналогична понятиям «сословной» чести. «Этническая» честь — это специфическая массовая честь, потому что она доступна каждому, кто принадлежит общности, основанной на субъективной вере в общее происхождение. «Poor white trash», неимущие и, в отсутствие возможностей свободной работы, очень часто влачащие нищее существование белые американцы в южных штатах в рабовладельческую эпоху были истинными носителями довольно чуждой самим плантаторам расовой антипатии, потому что именно их социальная «честь» зависела от социального деклассирования чернокожих. И за всеми «этническими» противоречиями довольно естественно стоит идея «избранного народа», которая является лишь переведенным в горизонтальную плоскость соответствием «сословных» различий и обязана своей популярностью как раз тому, что, в отличие от последних, которые всегда основываются на субординации, на нее субъективно в равной мере может претендовать любой член любой из презирающих друг друга групп. Поэтому этническое отторжение цепляется за все мыслимые различия в представлениях о «приличности» и превращает их в «этнические традиции» («ethnischen Konventionen»). Наряду с вышеупомянутыми, все же более тесно связанными с порядком хозяйствования факторами конвенционализация — понятие,

которое подлежит объяснению в другом месте — охватывает также, в частности, ношение бороды, прически и тому подобное, и расхождения в этих моментах оказывают «этнически» отталкивающее воздействие именно потому, что они считаются символами этнической принадлежности. Правда, не всегда отторжение обусловлено только «символическим» характером различительных признаков. То, что скифские женщины смазывали свои волосы маслом, которое издавало прогорклый запах, а эллины, напротив, использовали ароматические масла, делало невозможной, согласно одному античному преданию, попытку общественного сближения благородных дам с обеих сторон. Запах масла наверняка оказывал более интенсивное разделяющее воздействие, чем самые резкие расовые различия, или — насколько я сам мог заметить — мифический «негритянский запах». Для формирования веры в «этническое» единство «расовые качества» обычно имеют значение только как границы при слишком гетерогенном, эстетически не приемлемом внешнем типе, т. е. не имеют прямого позитивного значения для образования общности.

Сильные различия в «обычаях», которые, соответственно, при образовании чувств этнической общности и представлений о кровном родстве играют роль, равноценную роли унаследованного габитуса, регулярно, наряду с языковыми и религиозными различиями, вызываются к жизни различными экономическими или политическими условиями существования, к которым должна приспособиться человеческая группа. Если мы мысленно устраним четкие языковые границы, жестко разграниченные политические или религиозные общности как опоры различий в «обычаях» — их отсутствие действительно можно наблюдать в обширных областях африканского и южноамериканского континентов, — то останутся только постепенные переходы «обычаев» и никаких прочных «этнических границ», кроме тех, которые обусловлены резкими территориальными различиями. Четкие границы области действия «этнически» релевантных обычаев, которые не обусловлены политически, экономически или религиозно, регулярно возникают в результате переселений или экспансии, которые сводят в ближайшем соседстве группы людей, до тех пор долгое или даже не очень продолжительное время жившие вдали друг от друга и поэтому приспособившиеся к очень разнообразным условиям. Обычно возникающий таким образом отчетливый контраст образа жизни затем пробуждает у обеих сторон представление о взаимной «чуждости по крови», совершенно независимо от объективного положения вещей.

Влияния, которые привносят в процесс образования общности понимаемые в этом специфическом смысле «этнические» факторы, т. е. основанная на сходстве или различии внешнего облика личности и ее образа жизни вера в кровное родство или наоборот, конечно, с трудом поддаются определению и в каждом отдельном случае имеют проблематичное значение. «Этнически» релевантный «обычай» вообще действует только как обычай — о сущности которого должна идти речь в другом месте — и никак иначе. Вера в родство, основанная на общности происхождения, вместе со сходством

обычаев, может благоприятствовать распространению общностного действия, воспринятого частью этнически «объединенных» людей, среди остальных, т. е. сознание общности способствует подражательству. Это касается прежде всего пропаганды религиозных общностей. Но подобными неопределенными высказываниями все и ограничивается. Содержание возможного на «этнической» основе общностного действия остается неопределенным. Этому как раз соответствует недостаточная однозначность тех понятий, которые, как представляется, указывают на обусловленное только «этнически», т. е. верой в кровное родство общностное действие: «народность», «племя», «народ» — каждое из которых обычно используется в значении этнического подразделения каждого последующего (однако первое и второе понятие в этом смысле могут меняться местами). Очень часто, когда используют эти понятия, то подразумевают или пусть даже непрочную, современную политическую общность, или воспоминания о когда-то существовавшей общности, которые сохранились в общем героическом эпосе, или языковую или диалектную общность или, наконец, культовую общность. В особенности разные культовые общности в прошлом представляли собой типичные сопутствующие явления основанного на вере в кровное родство «племенного» или «народного» сознания. Но если при этом полностью отсутствовала политическая, настоящая или бывшая, общность, тогда уже внешнее отграничение объема общности обычно было довольно неопределенным. Культовые общности германских племен, еще в конце бургундского периода, по-видимому, представляли собой рудименты политических общностей и поэтому, вероятно, имели более или менее четкие границы. Дельфийский оракул, напротив, является несомненным культовым отличительным признаком эллинов как «народа». Но бог делится сведениями также с варварами и принимает их почитание, а с другой стороны, в обобществленном управлении его культа участвует лишь небольшая часть эллинов, а самые могущественные из их политических общностей вообще не принимают в нем никакого участия. Таким образом, культовая общность как показатель «чувства племени» в общем является или остатком когда-то существовавшей более тесной, распавшейся в результате разделения и колонизации общности чаще всего политического типа, или — как в случае с дельфийским Аполлоном — скорее, продуктом вызванной другими, нежели чисто «этнические» условия «культурной общности» («Kulturgemeinschaft»), которая, в свою очередь, приводит к вере в кровное родство. То, как именно политическое общностное действие невероятно легко создает представление о «кровной общности» — в том случае, если этому не препятствуют слишком резкие различия в антропологическом типе, показывает весь ход истории.

§ 3. Отношение к политической общности. «Племя» и «народ»

«Племя», естественно, однозначно имеет внешние границы тогда, когда оно является подразделением политического объединения (Gemeinwesen). Но в таком случае это отграничение также в большинстве случаев искусственно создано на основе политической общности. На это указывают круглые

числа, характеризующие количество племен, например, уже упомянутое разделение израильского народа на 12 колен, также три дорические «фили» и разное количество «фил» остальных греков. При образовании нового объединения или его реорганизации они заново искусственно разделялись, и поэтому здесь «племя», хотя оно скоро привлекает всю символику кровной общности, в особенности племенной культ, является лишь искусственным продуктом политической общности. Возникновение специфического, реагирующего по типу кровнородственных связей чувства общности для искусственно отграниченных политических образований не является редкостью и сегодня. Самые схематичные политические образования — разделенные квадратами по широтам «штаты» Американского союза, например, — проявляют очень развитое сознание своей особенности: нередко семьи, которые ждут ребенка, едут из Нью-Йорка в Ричмонд только затем, чтобы он родился там и таким образом стал «виргинцем». Искусственность таких отграничений, конечно, не исключает того, что, например, эллинские филы первоначально где-то существовали самостоятельно, и затем, когда они объединились в политический союз, разделение полиса при первом его проведении опиралось на них. Но тогда те, существовавшие до полиса племена (их тогда называют не «филами», а этносом) или идентичны соответствующим политическим общностям, которые затем обобществились в «полис», или, если это было не так, то, видимо, все же в очень многих случаях жизнь политически неорганизованного племени как предполагаемой «кровной общности» поддерживалась памятью о том, что когда-то раньше оно было носителем политического общностного действия, которое, правда, как правило, происходило от случая к случаю, включая в себя отдельные завоевательные походы или сопротивление завоевателям, и тогда эти политические воспоминания как раз предшествовали возникновению «племени». То, что «племенное сознание», согласно правилу, обусловлено в первую очередь общими политическими судьбами, а не «происхождением», по-видимому, в соответствии со всем вышесказанным, очень часто является источником веры в «этническое» единство. Хотя это и не единственный источник, поскольку общность «обычаев» может иметь разные источники и в конечном итоге происходит в значительной мере от приспособления к природным условиям и подражания в кругу соседства. Однако фактически существование «племенного сознания» обычно означает нечто специфически политическое, а именно, что при военной угрозе извне или при достаточном побуждении к собственным военным действиям, направленным вовне, политическое общностное действие особенно легко возникает на этой основе, т. е. как действие «соплеменников» (или «соотечественников», «Volksgenossen»), субъективно воспринимающих друг друга как находящихся в кровном родстве. Потенциальное вспыхивание воли к политическому действию, соответственно, является не единственной, но одной из тех реальностей, которые в конечном итоге скрываются за обычно многозначными в других отношениях понятиями «племени» и «народа». Это непостоянное политическое действие может также, несмотря на отсутствие настроенного на него обобществления, особенно легко перерасти в считающийся «моральной» («sittliche») нор-

мой долг солидарности соотечественников и соплеменников в случае военного нападения. Нарушение этого долга обрекает провинившиеся политические общности на участь кланов Сегеста и Ингвиомера (изгнание из их области), даже если у племени нет «органа» управления. Но когда эта стадия развития достигнута, тогда племя становится действительно постоянной политической общностью, даже если в мирное время она также остается скрытой и поэтому, естественно, нестабильной. Переход от просто «обычного» к привычному и, следовательно, «должному» в этой сфере при благоприятных обстоятельствах также очень плавный. В общем и целом в «этнически» обусловленном общностном действии мы видим переплетение явлений, и по-настоящему точное социологическое рассмотрение — которое мы здесь даже не пытаемся осуществить — должно было бы тщательно их разделять: фактическое субъективное воздействие «обычаев», обусловленных, с одной стороны, предрасположенностью, с другой — традицией, влияние всех конкретных различных содержаний «обычая», обратное влияние языковой, религиозной, политической общности, бывшей и настоящей, на образование обычаев, мера, в которой такие отдельные составляющие пробуждают притяжения и отторжения и в особенности веру в общность и чуждость по крови, их разнообразные следствия для действия, а также для половых отношений разного рода, шансов развития разного рода общностного действия на основе общности обычаев или веры в кровное родство — все это, по-видимому, следует изучать отдельно и обособленно. При этом наверняка собирательное понятие «этнический» было бы отброшено, т. к. оно представляет собой совершенно непригодное ни для одного действительно точного исследования собирательное имя. Однако мы занимаемся социологией не ради нее самой и поэтому удовлетворимся тем, чтобы кратко показать, какие очень разветвленные проблемы скрываются за казалось бы единым феноменом.

Ускользящее при точном образовании понятий обозначение «этнической» общности именно в этом отношении соответствует одному из наиболее отягощенных для нас патетическими чувствами понятий — понятию «нации», как только мы начинаем пытаться рассматривать его социологически.

§ 4. Национальность и престиж культуры

«Национальность» объединяет с «народом» в общепринятом «этническом» смысле, по крайней мере в большинстве случаев, расплывчатое представление о том, что в основе того, что воспринимается как «общее», должна лежать общность происхождения, хотя в действительности люди, которые рассматривают себя как представителей одной нации, не только в отдельных случаях, но и очень часто по своему происхождению гораздо дальше отстоят друг от друга, чем те, которые причисляют себя к разным или враждебным национальностям. Различия в национальности могут, например, существовать, невзирая на бесспорно сильное родство по происхождению, только потому, что имеются различия религиозных конфессий, как, например, между сербами и хорватами. Реальные причины веры в существование «национального» единства и основывающегося на ней общност-

ного действия очень разные. Сегодня, в эпоху борьбы языков, его нормальной основой считается прежде всего «языковая общность». Тогда то, в чем ее содержание превосходит просто «языковую общность», можно, конечно, искать в особом успехе, на который ориентировано ее общественное действие, и тогда это может быть только обособленный политический союз. В действительности сегодня в понятийном отношении «национальное государство» на основе единства языка стало тождественно «государству». Рядом с политическими союзами, а именно с союзами современного типа, на «национальной» основе в этом языковом смысле стоит значительное число таких, которые охватывают несколько языковых общностей и чаще всего, хотя и не всегда, для политического обращения предпочитают какой-либо один язык. Но и для так называемого национального чувства — мы пока не даем определения этому понятию — языковой общности недостаточно, как показывает, помимо только что упомянутого примера, пример ирландцев, швейцарцев и немецкоязычных эльзасцев, которые не чувствуют себя — по крайней мере, в полном смысле, членами обозначаемой их языком «нации». С другой стороны, языковые различия также не являются абсолютным препятствием для чувства «национальной» общности: немецкоязычные эльзасцами чувствовали себя в свое время и многие чувствуют себя и теперь частью французской «нации». Но все же не в полном смысле, не так, как франкоязычные французы. Таким образом, существуют «ступени» качественной однозначности веры в «национальное» единство. У эльзасских немцев широко распространенное чувство единства с французами наряду с некоторым сходством «обычаев» и некоторых благ «чувственной культуры» — на которое указал, в частности, Виттих* — обусловлено политическими воспоминаниями, как показывает кольмарский музей, богатый настолько же тривиальными для постороннего, насколько патетически почитаемыми эльзасцами реликвиями (триколор, пожарные и военные шлемы, указы Луи Филиппа, прежде всего революционные реликвии). Общие политические, при этом косвенно социальные, воспринимаемые как символ уничтожения феодализма, высоко ценимые массами судьбы создали эту общность, и ее легенда заменяет сказания о героях примитивных народов. «Grande Nation» была освободительницей от гнета феодализма, считалась носительницей «культуры», ее язык считался собственно «культурным языком», тогда как немецкий был «диалектом» для повседневности, и, таким образом, привязанность к культурно говорящим — это специфическая внутренняя позиция, явно родственная основанному на общности языка чувству общности, но не тождественная ему, а опирающаяся на частичную «культурную общность» и политическую память. Далее, у верхнесилезских поляков в целом до недавнего времени** не было распространено — по крайней мере, не так, чтобы это было релевантно — осознанное польское «национальное чувство» в том смысле, чтобы они чувствовали свою противопоставленность в значительной мере

* Wittich W. Deutsche und französische Kultur im Elsass. Strasburg: Schleiser und Schwikhardt, 1900. S. 38 и след.

** Работа написана до первой мировой войны — прим. издателя.

основывающемся на общности немецкого языка прусскому политическому союзу. Они были лояльными, хотя и пассивными «пруссаками», несмотря на то, что не были хоть как-то заинтересованными в сохранении национального политического союза «Германской империи» немцами и у них, по крайней мере у большинства, не было осознанной и уж тем более сильной потребности в обособлении от немецкоязычных сограждан. Здесь, таким образом, полностью отсутствовало развивающееся на почве языковой общности «национальное чувство», и о «культурной общности» при нехватке культуры еще не могло быть и речи. Среди прибалтийских немцев не распространено ни «национальное чувство» в смысле позитивной оценки языковой общности с немцами как таковой, ни страстное стремление к политическому объединению с «Германской империей», перед которым они, скорее, в большинстве своем испытывали бы ужас. Зато они очень резко обособляются — отчасти и даже во многом в связи с «сословными» противоречиями, отчасти по причинам противоположности и взаимной «непонятности» и неуважения к «обычаям» и культурному достоянию друг друга — от славянского окружения, включая в особенности русское, хотя также и по причине того, что они в большинстве своем соблюдают сильную лояльную вассальскую верность по отношению к правящей династии и показали такую заинтересованность в могуществе политической общности, которой она управляет и которую они обеспечивают чиновниками (и которая, в свою очередь, обеспечивает экономически их молодое поколение), как какой-нибудь «национальный русский». Итак, здесь тоже отсутствует все, что можно было бы назвать «национальным чувством» в современном, ориентированном на язык или также на культуру смысле. Здесь, как и у чисто пролетарских поляков, распространена лояльность по отношению к политической общности в сочетании с чувством общности, ограниченным имеющейся в ее рамках локальной языковой общностью, но находящимся под сильным влиянием «сословных» отношений и тем самым модифицированным. Правда, в отношении сословий здесь также уже нет никакого единообразия, хотя противоречия и не такие резкие, как это было среди белого населения южных штатов Америки. Однако внутренние сословные и классовые противоречия пока, перед общей угрозой языковой общности, отступают на задний план. И, наконец, есть случаи, когда название не совсем подходит, как, например, в случае чувства общности швейцарцев и бельгийцев или люксембургцев и лихтенштейнцев. Не количественная «незначительность» политического союза является решающей, когда мы колеблемся, можно ли применить к ним это название — голландцы для нас являются «нацией», — сознательный отказ от «власти», который совершили эти «нейтрализованные» политические объединения, невольно вызывает у нас сомнения. Швейцарцы не являются отдельной «нацией», если посмотреть на их языковую или культурную общность в смысле единства литературного или художественного культурного достояния. Распространенное у них несмотря на это и несмотря на все недавно проявившиеся ослабления сильное чувство общности, однако, мотивировано не только лояльностью по отношению к политическому объединению, но и своеобразием «обычаев», которые — неваж-

но, каково объективное положение дел — субъективно воспринимаются как глубоко общие и со своей стороны очень сильно обусловлены социально-структурным противостоянием, в частности, Германии, но и в целом любому «великому» и, значит, милитаристскому политическому образованию с его последствиями для типа внутренней структуры господства, и поэтому кажется, что эти обычаи может гарантировать только обособленное существование. Лояльность канадских французов по отношению к английской политической общности сегодня также обусловлена прежде всего глубокой антипатией к экономическим и социальным структурным отношениям и обычаям в соседних американских штатах, по сравнению с которыми принадлежность к Канаде оценивается как гарантия имевшегося в прошлом, но уже не актуального своеобразия. Казуистику можно легко продолжить и, по-видимому, каждое точное социологическое исследование и должно ее продолжать. Она показывает, что чувства единства, обозначаемые собирательным именем «национальный», не представляют собой чего-то однозначного, а могут питаться из очень разных источников: различия в социальной и экономической организации и внутренней структуре господства с их влиянием на «обычаи» могут играть, хотя и не обязательно, определенную роль, — т. к. внутри Германской империи они настолько различны, насколько это только возможно; общая политическая память, конфессия и, наконец, языковая общность могут действовать как источники, и конечно, обусловленный расой габитус. Последний зачастую оказывает своеобразное воздействие. Общее «национальное чувство» в Соединенных Штатах, с точки зрения белого, с трудом объединяет его с чернокожим, в то время как у чернокожих было и есть американское «национальное чувство», по крайней мере в том смысле, что они претендовали на право его иметь. И все же, например, у швейцарцев гордое самосознание своей особенности и безоговорочная готовность вступить за нее не отличается ни качественным образом, ни количественно — они распространены там не меньше, чем у какой-либо количественно «великой» и ориентированной на «власть» «нации». Снова и снова при понятии «нация» мы вынуждены обратиться к отношению к политической «власти», и, таким образом, очевидно, что «национальное» — если в нем вообще есть что-то единое — представляет собой специфический вид пафоса, который в какой-либо связанной общностью языка, конфессии, обычаях или судьбы группе людей соединяется с мыслью о ее собственной, уже существующей или желаемой политической организации власти, и чем больше делается акцент на «власти», тем специфичнее. Эта патетическая гордость уже обладаемой или это страстное стремление к абстрактной политической «власти» общности как таковой в количественно «малой» общности — такой, как языковая общность сегодняшней Венгрии, Чехии, Греции — могут быть гораздо более распространены, чем в другой, качественно сходной и при этом количественно гораздо большей [общности], например, в общности немцев полтора столетия назад, которая тогда была также во многом языковой общностью, но не имела никаких «национальных» властных притязаний.